



ИВАН АЛЕКСЕЕВ
ХОЛОДА
В ЗАНЗИБАРЕ

СОДЕРЖИТ
ОБСЦЕННУЮ
ЛЕКСИКУ
18+

Самое время!

Иван Алексеев

Холода в Занзибаре

«WebKniga»

Алексеев И. К.

Холода в Занзибаре / И. К. Алексеев — «WebKniga», — (Самое время!)

Земную жизнь пройдя до середины и дальше, можно ли не помнить ту часть пути, которая была «до»? Для каждого это самое «до» – свое. Для кого-то перестройка, для кого-то эмиграция или поворотные события. Книга рассказов Ивана Алексеева – кстати, врача по профессии – ведет нас в «до» – в забытое, затоптанное в глубину памяти. Первая любовь, первые данные себе обеты, первые победы. Первые измены и похороны. А первые, выстраданные, вымечтанные джинсы «Супер-Райфл»? А первая зеркалка с телевиком? А тусовка на Стрите или Калинке? А судьбы, горькие, кровавые, тех, кого уже нет – но кого забыть невозможно? Пронзительно подобранное слово писателя открывает нам ключ к жизням героев, в каждой из которых русский читатель кожей ощутит что-то близкое.

Содержание

Возвращение доктора Несветова. Повесть	6
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Иван Алексеев

Холода в Занзибаре

© Алексеев И. К., 2019

© «Время», 2019

* * *

Возвращение доктора Несветова. Повесть

*Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
к сожалению, трудно. Красавице платье задрал,
видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.
И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и
тут —
тут конец перспективы.*

И. Бродский. Конец прекрасной эпохи

1

В 99-м День благодарения пришелся на 25 ноября. Из Москвы позвонила Бета, Берта Александровна, институтская мама подруга. Всякий раз, получив от нее открытку, я старался ответить живую – звонком. Приглашал в гости – пожить в тепле с названными внуками, но она так и не собралась. Умер Леня, сказала она. Леня – мой отец.

Если бы не мама – урна с ее прахом хранилась у отца в шкафу в обувной коробке, – от поездки на родину я бы воздержался.

Чуть больше года назад летел на кардиологический конгресс из Вашингтона в Барселону. Когда взлет сделался пологим и я расслабленно ожидал выключения надписи «fasten seat belts», самолет резко затормозил, кивнул и устремился вниз. За черным ночным иллюминатором в противоестественной тишине, закручиваясь в жгуты, свистел воздух. Падение длилось меньше минуты: двигатели заработали снова – надежно и мощно, самолет задрал нос, свист смикшировался в привычном балансе шумов. На возвратном пути вскоре после взлета почувствовал нехватку воздуха. Лоб взмок. Ничего, Чапай выплывет! Разгерметизация? От нее погиб со товарищи космонавт Волков, именем которого называлась улица, где я когда-то жил. Но кислородные маски из потолка не выпали, пассажиры спокойно дремали на своих местах. Число дыханий соседа в одну минуту – 14. Против моих 26. Причина одышки – в голове. Пережить тот полет мне помогла стюардесса с татуировкой дракона на загорелом предплечье – она по-матерински накрыла мою руку ладонью и что-то ласково зашептала в ухо. Теплый запах ее духов, рок-н-роллы Джерри Ли Льюиса в наушниках, приличная порция скотча привели мою вегетативную нервную систему в более или менее рабочее состояние. Рита, русский психолог из Киева, чем-то неуловимым напоминала мне Вику – может быть, сочетанием карих глаз с прямыми, до плеч, натуральными пшеничными волосами, а может, жестом, когда, задумавшись, отставив мизинец, ровными белоснежными зубками полировала ноготь на большем пальце. И лет ей было столько же, сколько тогда Вике, – около тридцати. Чапаев выплыть не мог, полагала Рита, потому что в Советском Союзе все видели, как он утонул. Его следовало заменить Джеймсом Бондом, который выкручивается из самых невероятных передрыг, на худой конец – Иваном-дураком. Секрет фокуса остался нераскрытым: аэрофобия оказалась случайным эксцессом? Или гештальт завершило письмо, написанное мною по заданию Риты и адресованное неудачнику Игорю Несветову, топтавшему землю шестнадцать лет назад?

Панические атаки как будто прекратились.

В Шереметьеве морозный воздух обжег легкие. Сотовый на местные частоты не реагировал. На такси под песни из тюремного радиоузла отправился в Митино. Трава вдоль шоссе

¹ Все совпадения с названиями лечебных и религиозных учреждений, фамилиями, должностями, а также прочие совпадения – совершенно случайны. – *Здесь и далее примеч. автора.*

была слегка припудрена снегом. Успел к концу церемонии. В зале прощаний висел туман от дыхания немногочисленных провожающих и приторного дыма из кадила. Из обитого красным ситцем гроба торчал длинный белый нос отца. Рыжебородый священник с тощей косичкой, набранной из волос, обрамлявших лысину, подымил кадилом, прогундосил молитву и неожиданно задернул лицо покойника саваном, избавив меня от фальшивой обязанности прощания, – прощать было нечем. Если б в душе осталась хотя бы щепотка тепла! Но там, где когда-то вольготно помещался пропахший гуталином, табаком и одеколоном отец, – уличный холод и дверь нараспашку. Гроб уехал в печь.

Прежде я узнал шубейку из черного каракуля, уже заметно потертую, и только потом саму Бету – она превратилась в аккуратную старушку с прямой спиной. Какой ты стал взрослый, Игорек, Сонечка была бы счастлива. Она говорила, поглаживая рукав моей куртки, и сквозь маску возраста постепенно проступали черты, которые я помнил и любил. Как ты легко одет, у нас морозы. Я обнял старушку и на мгновение почувствовал под шубкой хрупкое и жалкое тепло ее одинокой стародевичьей жизни. Ты решил, где останешься? Твоя комната свободна.

Такси пристроилось в хвост к ритуальному автобусу. Ехали на космонавта Волкова, в ту самую квартиру, где мной были прожиты первые восемь московских лет и откуда студентом, вскоре после смерти мамы, я сбежал к Бете, когда отец тяжело запил. Он возвращался со службы, напяливал полосатую пижаму и все вечера проводил на кухне – один локоть на столе, другой на широком подоконнике. Ему тогда было под пятьдесят, почти столько же, сколько сейчас мне. Орала радиоточка. За невытыми стеклами открывался вид на ржавые гаражи и железную дорогу. Шипели в снежной жиже машины, завывали электрички, тяжело переваливались через стык товарняки. Посуда в ободранном буфете позванивала. Отец наполнял стакан водкой, глядел в пространство, мерцал серыми водянистыми глазами, не поморщившись, выпивал. Ел и пил он на газетах, а бутылки, пустые консервные банки, пригоревшие сковородки составлял на подоконник, который я хотя бы раз в три дня старался привести в порядок.

Бета, привалясь ко мне плечом, продолжала поглаживать мою руку и что-то рассказывала – слова пролетали мимо сознания, от звука ее голоса по спине бежали уютные мурашки, как бывало от любимой сказки на ночь. Все мое детство отец пытался сделать из меня настоящего солдата и очень заботился о том, чтобы мне было легко в бою. С утра тащил в ванную под ледяную струю, мучал зарядкой, заставляя приседать с гантелями. Мы жили тогда под Архангельском, в Мирном, в двух шагах от Плесеца, где строился секретный космодром. По выходным отец устраивал марш-броски на лыжах по снежной целине в самые лютые морозы – кроме нас и отмороженных охотников, на лыжи никто не вставал. Ничего, Чапай выплывет! – ободрял он, когда мне становилось совсем невмоготу. На телячьи нежности в нашей семье был наложен строгий запрет. Пришлось уйти в подполье – мамнины прикосновения, поцелуи, нежные словечки доставались мне только в отсутствие отца. К счастью, два раза в неделю он возвращался со службы к ночи, а иногда уезжал в командировки. Во все прочие вечера оба подпольщика надевали непроницаемые лица, заговорщицки перемигивались за спиной деспота и коротко – по-воровски – обнимались в темноте коридора.

Как взлетают ракеты, я не видел – запуски начались позже, когда мы с мамой перебрались в Москву, а отец стал навещать нас наездами.

В девятом я категорически заявил, что собираюсь в медицинский и ничего *ни с кем* обсуждать не намерен. Серые глаза отца, растерянные, а потом загоревшиеся обидой и возмущением, расфокусировались. С этого дня он перестал меня замечать, не интересовался моими успехами, даже результатами в самбо, пропускал мимо ушей вопросы, но впадал в неистовство, если я забывал вынести помойное ведро или не вернул сдачу после магазина.

По коридору, оклеенному темно-зелеными обоями, между кухней и большой комнатой озабоченно сновали пожилые незнакомые женщины – накрывали стол. Им мешали тела

близких и друзей покойника. Скопом доставленные автобусом, они сразу наполнили тесные помещения скорбным гулом, шуршанием и скрипом старого паркета. Коридорная вешалка не справлялась, одежду сваливали в моей бывшей комнате на диван, занявший после моей женитьбы место кровати с панцирной сеткой. Двухтумбовый письменный стол на тонких высоких ножках доживал свой век на прежнем месте – я перешел в десятый, когда мы с мамой купили его в комиссионке на Большой Академической. Сейчас на нем стояли две полковничьи папахи из серого каракуля.

Видишь, какое у нас горе, Игорек, сказала невысокая толстая женщина в черном платке, навалилась на меня животом и уткнула отекавшее заплаканное лицо в мою грудь. Надя, моя мачеха, была на десять лет старше меня и на пятнадцать лет младше отца. Он женился в один год со мной. На своих днях рождения, которые по инерции я все же посещал, отец непременно поднимал за Надю бокал с минералкой как за свою спасительницу. Как он мучился! Надя, не наводя зрачки на резкость, взглянула на меня снизу вверх и снова уткнулась в мою грудь. Что такое рак толстой кишки с метастазами в печень, я хорошо представлял. Как Леша не хотел надевать крестик! А надел, и стало легче. У отца, которого помнил я, религиозности было не больше, чем у моей голой египетской кошки. Он ведь крещеный был, ты знал? Я сочувственно сжал Надины плечи и, понимая, что подходящего момента потом может и не случиться, сказал: давай, пока не сели за стол, я заберу мамину урну? Надя отпрянула, вскинула круглое бледное лицо, взгляд ее прояснился. И еще наш фотоальбом. Ну вот, сказала она, выбрал время! Совсем стал нерусский. Извини, сказал я, что порчу тебе... И осекся: «торжество» было не самым подходящим словом. Надя повернулась ко мне спиной, передернула плечами, поправила черный платок с бахромой и, широко расставляя плоскостопные ноги, покачиваясь, как пингвин, заковыляла в коридор.

Теплых воспоминаний в своем ближнем кругу, судя по тостам, отец не оставил. Говорившие не стеснялись казенных слов. Над столом как будто сгустилась неуютная и жалкая, с привкусом вины, неловкость перед покойником оттого, что тот не дал повода для любовных и искренних речей. Помочь развеять неловкость могла только водка. И вдруг – зачавкало, забулькало, зазвенело. Когда рюмка отца, покрытая куском черного хлеба с ломтиком селедки, ни с того ни сего опрокинулась, старичок с седой головой на тонкой шее, торчавшей из полковничьего мундира, сказал: вот, это он за нас выпил, за живых! Леша не пил! – подчеркнула свою роль в трезвости отца Надя. Капли в рот не брал! А теперь можно! Жены-то рядом нет! Старичок, довольный собой, махнул полную рюмку, втянул щеки, задумчиво погонял по деснам протезы. Может, там теперь его... девы ласкают, сказал он важно.

Я не спал уже больше суток, если не считать тяжелой самолетной дремы. Мы заранее уговорились с Бетой, что она выберет момент, когда ей станет плохо. Протиснулись между стеной и шеренгой занятых стульев, отыскивали в куче одежду. Синий чемодан с ярлыком авиакомпании на ручке стоял на задних лапах, как суслик в степи. Расхлябанный замок из квартиры не выпускал – прокручивался. Мои зубы сжались с такой силой, что зашумело в ушах. В коридор из большой комнаты, включив застолье на полную громкость, пингином выкатилась Надя. Навалилась плечом на дверь, пощелкала собачкой – та поддалась. Ты, Игорек, не обижайся, мы *ее* на дачу вывезли, сказала она, провожая нас к лифту. Колеса чемодана гулко стучали по плитке. И альбом. Лет десять назад. Как-то это все... неприятно... если дома... в общем, сам понимаешь... Когда лифтовые створки съезжались, выкрикнула: А Леша тебя часто вспоминал!

Такси не было. 23-й трамвай как ни в чем ни бывало ходил по прежнему маршруту и был того же красного цвета. Вагон так же скрежетал на поворотах, так же раскачивался – приходилось хвататься за поручень и придерживать чемодан. Дежавю: как будто никуда не уезжал, и завтра к восьми на работу, под лучи жесткой радиации отторжения и отчужденности. Лишь изредка карманный фонарик улыбки осмелевшего коллеги пошлет тайный сигнал поддержки

и сразу погаснет. В ладони фантомная боль пустоты – прилюдные рукопожатия умерли, остались тайные, без свидетелей.

Пространство полупустого вагона заливал тот же ознобный безжизненный свет, от которого свербит в желудке, на стеклах лежал тот же грязно-матовый налет изморози. Бета, продышав черную дырочку, прояснила ее перчаткой: нескладный. И повторила: нескладный. Неловкий, шершавый весь какой-то... Бета затянула паузу, но слово «хороший» она все-таки произнести не решилась. И понять его можно, осторожно подбирала слова Бета, я вот, например, понимаю – война. Первый признак старости – стремление все помирить в прошлом, подружить кошку с мышами. Он воевал, а я немка. *Профессор в сбитой на ухо хирургической шапочке сидит за большим столом, заваленном бумагами, протезами сердечных клапанов и деталями от искусственного сердца – любимой игрушки. Выброшенная вперед раскрытая ладонь останавливает у двери – расстояние даже без свидетелей имеет значение. Думаю, тебе известно, э-э-э, – тягостное совестливое заикание советского интеллигента, – как поступают в такой ситуации благородные люди? Да, кивает Игорь Несветов, благородные люди увольняются.*

Невозможный труд: после стольких лет разлуки найти верное слово, которое хоть в малой степени сумело бы выразить мою любовь к этой трогательной старушке. Выручали прикосновения – в ответ на них бледный пергамент Бетиных век благодарно утягивался в орбиты, открывая серые глаза с красными паутинками по склерам. Благородные люди покупают в трамвае билет, подумал я. *Могу предложить, э-э-э, ставку старшего лаборанта в экспериментальном отделе. Это означало ссылку из клиники в виварий. Пойдешь? На собаках Игорь Несветов наработал весь материал для кандидатской и навсегда незащищенной докторской – собачьего лая за восемь лет он наслушался. Сможешь набивать руку, говорит профессор, темка прежняя – ортотопическая пересадка печени. А Сонечку он любил, продолжала Бета, я видела. Это меня – терпел. Но терпел же! Ради Сонечки!*

Когда трамвай, вереща железом, выкручивался из-под моста на Волоколамку, а до Беты оставалось всего три полноценных остановки, я опознал в теле мелкую дрожь. Лоб покрылся бисером испарины. С чего бы? Рухнула глюкоза? Маловероятно – только что пил сладкий кисель, ел кутю, оливье, блины с селедкой и икрой. Дыхание частило, губы свернулись трубочкой, сердце неслось вскачь – касс в вагоне не было, только компостеры!

Игорь опаздывал в институт и, как назло, у него закончился «единый». В жаркий момент спора рефлекторной подсечкой из самбо он уложил контролера на 43-м маршруте троллейбуса. Два мента затолкали его в воронок и доставили в обезьянник с облупленными зелеными стенами, где судорожно вспыхивала и никак не могла разгореться лампа дневного света. Мент, что помоложе, с оттопыренными ушами над пустыми погонами (на лацкане его кителя шипела рация) вошел в обезьянник и теперь весело толкал студента кулаком в грудь. Он молодецвато подпрыгивал, как боксер на ринге, и, скособочив лицо улыбочкой, предлагал: Ударь! Ударь меня, сука! А вот и еще статья! – радостно вскрикивал он, когда Игорь успевал отразить кулак. Наконец предложение было принято – мент рухнул в нокауте. Сразу сбежались, повалили на пол. Били долго – всем отделением. Когда уставали – менялись, а отдохнув, снова принимались за дело.

Сейчас войдут, скрутят, отберут синий паспорт! Выручать – некому! Рита, узнав о моем трамвайном страхе, наверняка воскликнула бы: Oh my god! Тебя все еще терзают тоталитарные демоны! Взмолился, хватая ртом воздух: Беточка, возьми мне билет! Бета, застенчиво прикрыв беззубый рот черной перчаткой, улыбнулась: я сегодня богатая, откупимся! И смущенно добавила, всматриваясь в черную дыру в оконном инее: прости, Игоряша, у меня зубной протез сломался.

Часы на руке показывали время восточного побережья. На потолке лежала тень – крест оконного переплета. Спросонья забыл, что надо делать – прибавлять восемь или отнимать? Накануне, бросив чемодан в прихожей, я сразу отрубился, едва рухнул на диван. Встал, отдернул занавески. Ртутные фонари золотили пустынный асфальт улицы. На монументально темневшем фасаде генеральского дома светились два окна – на втором и шестом.

Выключатель света рядом с дверным косяком привел в действие машину времени. Письменный стол у окна пребывал в музейной неприкосновенности: под стеклом, покрывавшим столешницу, все еще продолжался 1983-й. Пожелтевший календарь пестрил кружками вокруг дат, восклицательными знаками, стрелками: «ОВИР 11.00», «архив → 14.00!», «М.С.»... Михаил Соломонович, раввин Хоральной синагоги на улице Архипова, без знакомства с которым у меня не было бы ни единого шанса. Красный будильник с колокольчиком на макушке, похоже, свои шестеренки не тратил со времени моего отъезда. С обоев смотрели прикнопленные Юл Бриннер в черной шляпе и Збигнев Цибульский в темных очках, Битлы по зебре гуськом переходили Abbey Road. Эти фотокопии я вывез с Волкова, сбежав к Бете после ссоры с отцом. Когда спустя десять лет в эту комнату вошла Вика, Збышек понимающе отвел взгляд, а Юл удовлетворенно сдвинул колымом шляпу на затылок. Битлы лохматых голов не повернули.

Над столом на книжных полках вечным сном спали безнадежно устаревшие книги по медицине (в эмиграцию, опасаясь перегруза, захватил только «Оперативную хирургию» Имре Литмана, небольшую книжечку «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте», оттиски своих статей и самодельную брошюрку со стихами Мандельштама). Стиснутый солидными томами, в щель стеснительно выглядывал худенький корешок «Ангела на мосту» Чивера, из которого Игорь тогда успел прочитать только два или три рассказа (в предотъездной горячке забыл его вернуть Вике). Прямоугольный шкаф, стоявший у другой стены, по-прежнему сиял псевдоореховой полировкой – в ней мутно отражалась Вика, когда собиралась уходить. Вот только что она раскованно ходила по комнате голой, но, одеваясь, всегда просила отвернуться. Над диваном висел тот же красный ковер, косивший под персидский, на который Игорь булавами прикреплял листочки с английскими идиомами и неправильными глаголами. В фарфоровую китайскую вазу на журнальном столике перед приходом Вики он опускал три белых гвоздички. Вика цветам радовалась, но с собой не уносила. Хотя, на мой взгляд, ничего криминального в них не было, всегда можно было сказать, что подарили пациенты.

В коридоре было тихо, Бета еще не вставала. Я лежал одетым поверх белья на диване. На фасаде генеральского дома вспыхнули одно за другим три окна – будто сыграли до-ре-ми. Окна Гафуровых выходили во двор, только кухня смотрела на улицу Алабяна. В первый раз Игорь появился в той огромной квартире в начале второго курса с пудовой «Кометой-209» – переписывать пластинки. На паркет огромного коридора падал свет из гостиной, где поблескивала сумрачным хрусталем огромная горка. Потолки были так высоки, что Гуля казалась лилипуткой. От матери она унаследовала отчаянно маленький рост и пышный бюст, который носила с некоторым вызовом. А об уникальном тридцать третьем размере ее ноги знал весь курс. Гулин отец разоблачал происки империализма в телевизоре, поэтому с пластинками и джинсами у Гули проблем не было. Первый поцелуй случился на скользком кожаном диване, когда переписывалась песня Mamy Blue (я только потом узнал, как это переводится).

Гуля переметнулась к Игорю от патлатого гитариста, игравшего на басу в «Пляске святого Витта», личности на потоке популярной. Его раздолбайству Игорь противопоставил заботу и опеку: ночами стоял за билетами на Таганку; чтобы набашлять на кафе, разгружал вагоны на Киевской-Сортировочной. Занимал место в аудитории и очередь в столовке. Предупредительно зажигал спичку, когда она зубками выхватывала сигарету из пачки (Игорь не курил). Страдая от бессмысленно растраченного времени, он торчал с ней на институтских сачкодромах, где Гуля упражняла свой острый язычок – при всей округлости форм, она топорщилась

углами. Тараторила со скорострельностью калаша – любую ее резкость или бестактность тотчас извиняла смешливая лунообразная татарская мордашка с живыми зелеными глазками. Игорь вдруг почувствовал, что у него появилось *право*. Стоило гитаристу приблизиться, расправлял плечи и молча выносил Гулю, болтавшую в воздухе импортными сапожками, из курилки. Как ни странно, это ей нравилось.

Количество перешло в качество на даче школьного товарища – еще из Мирного – Кости Смирнова. Он учился на физтехе, в отличие от меня, был любвеобилен и опытен и уверял, что «они» хотят точно так же, как и мы. Игорь сомневался. Приехали под ночь, вышли на тускло освещенную платформу в зябкий звездный воздух. По поселку Костя шел впереди, подсвечивая дорогу фонариком. Садовые домики, брошенные до весны, горбатились ломаными крышами в корявом кружеве яблоневых ветвей. Фонарик метался в темноте, зажигал мертвые окна. Подруга Кости, в памяти оставшаяся без имени, в самострочных расклешенных брючках в обтяжку и с тонкой хипповой косичкой у виска (с вплетенной синей ленточкой), превосходила Игоря ростом. Гуля едва доставала ей до груди. Девица держала Гулю за одну руку, мне была доверена другая. Еще в электричке девушки стремительно сдружились. Судя по обрывкам фраз, долетавшим до Игоря, когда девица склонялась к Гулиному уху, а потом, изогнувшись подставляла свое, обсуждались подробности интимной жизни с Костей.

Маленький домик был выстужен. К отсутствию комфорта Гуля, девочка из генеральского дома, неожиданно осталась равнодушна. На терраске дымила, разгораясь, печка. Костина подруга чистила картошку, Игорю выпало кромсать хлеб, колбасу, лук, открывать консервы. Гуля, выкурив сигарету, набрасывалась на него сзади с поцелуями и кусала в затылок. Костя зажал на гитаре спичкой седьмую струну, подкрутил колки и выдал благозвучное арпеджио. Пили из мутных граненых стаканов. Музыкантов я опасался, точнее преимущества, которым они беззастенчиво пользовались, и ревниво следил за реакцией Гули. От выпитого портвейна подташнивало. После того как проорали хором «Дом восходящего солнца», началось Костино соло: медленную «Мишел» сменила «Облади-облада», в припеве которой массовке было позволено прихлопывать в такт. Реакция Гули на гитариста оказалась благожелательной, но для Игоря не опасной.

Домик прогрелся только к утру. Лестница на мансарду располагалась снаружи – чтобы подняться наверх, нужно было выйти на улицу. Ничего, если я здесь? Гуля присела прямо у крыльца, в землю ударила упругая струйка. Между прочим, я сказала ей, что ты мой любовник! Застеснялась и лягнула! Клево?!

В комнате волосы задевали о потолок, Гуле – в самый раз. На кровати были свалены старые одеяла. В углу светила оранжевая спираль зеркального рефлектора. Гуля дурачилась: здесь мы будем дьелат свой пьяный лубоф? Она засмеялась, подставила губы: закрой глаза и целуй! Смотри, что она мне дала! Раскрыла ладошку – на ней лежали два белых квадратика с розовой надписью «изделие № 2».

«Дюймовочка» на потоке была одна, и неудивительно, что довольно скоро к Игорю прилипло прозвище Крот. Он переживал, когда Гуля им пользовалась. На бдениях комсомольского комитета (Гуля собирала взносы, Игорь отвечал за спорт), сосредоточенно изрисовав блокнот сложными геометрическими орнаментами, она могла вдруг стукнуть кулачком по столу, вскочить и без всякого повода и приглашения разразиться пламенной речью – бессмысленной, но виртуозно взбитой на советских штампах. И все были вынуждены ее слушать и кивать. Зачем ты это делаешь? – искренне удивлялся Игорь. Хулиганю, Кротик! Но ведь блеск, скажи?! Гуля улыбалась, глядя снизу вверх (на четвертом курсе мы узнали, что ее идеальный прикус называется ортогнатическим), и медленно, не отводя взгляда, проводила языком по губам. Что в переводе на русский означало: «хочу тебя». Желание обижаться на «Кротика» скоропостижно рассасывалось.

Целый год – ее дача в Пионерской, где нужно было прятаться от домработницы, генеральские палаты на «Соколе» с назойливым, оравшим под дверью котом, ключи на три часа от квартир приятелей. На худой конец выручала непригодная для любви крикливая солдатская койка на Волкова – ложе родителей находилось под защитой табу. А потом умерла мама.

Окна генеральского дома вспыхивали одно за другим. Улица наполнялась звуками: прогрохотал трамвай, потом еще один, на повороте с треском рассыпал искры троллейбус. Крест на потолке растворился, окно выцвело, одиночные шипения шин и рокоты моторов слились в пульсирующий несмолкаемый гул. Допотопный черный телефонный аппарат, запараллеленный с Бетиным, по-прежнему стоял на табуретке рядом с диваном. Отец по телефону никогда не прощался – бросал трубку внезапно. Приходилось перезванивать. Вместо отца нередко трубку брала Надя: чего тебе? Тогда бросал трубку Игорь. Вчера, когда Надя, щелкая собачкой, грузно навалилась на дверь и через плечо исподлобья сверкнула белками, в неуютные секунды сцепившихся взглядов мне стало понятно, что все будет значительно сложнее, чем я предполагал. Все равно звонить ей рано. Осторожно вышел в коридор, закатил чемодан в комнату, уложил его на спину, быстрым движением застежки выпустил дружно вспучившиеся потроха. Подбором и заготовкой подарков занималась моя жена Люся: серый в елочку твидовый костюм – жакет и юбка, свитерки, кофточки, комплект постельного белья из чистого хлопка, коробочка с кулончиком из белого золота, фотоальбом нашей семьи. И еще подарки от детей – рисунки Даши в рамках, керамическая фигурка индейца в коробочке с ватой, слепленная и запеченная Пашкой специально для Беты.

На чемоданной крышке сквозь сетку кармана просвечивали блокнот и записная – из прошлой жизни – книжка в кожаном переплете (купил ее в Риге, когда отдыхал вместе с Гулей в Юрмале). Перелистал – звонить некому. Про Гулю я все знал от сына, учившегося в резидентуре в Филадельфии, а еще больше от нее самой – нередко Гулины телефонные звонки поднимали меня в пять утра. Все прочие из моей жизни ушли по-английски, незаметно и навсегда. Вот разве что Костя Смирнов? Составил в блокноте список дел. Их оказалось немного:

1. Дача!!!
2. Надя: дать денег? Сколько? Спросить у Беты.
3. Позвонить Косте. 253-18-22
4. Уговорить Бету на зубы. 1000\$?
5. Загранпасп. для Беты
6. Обнал. дорожные чеки.
7. Обменять деньги на рубли.
8. Вика?!?

Викин телефон я помнил: 158-37-16. Она осталась в той первой нескладной неудавшейся жизни. То есть должна была остаться там, но через какой-то черный ход постоянно вторгалась в настоящее. Я вспоминал Вику не часто, но эти воспоминания накрывали меня внезапно, бурно и без всякого повода. Это могло случиться во время операции, могло случиться на отдыхе, могло случиться, когда I was making love² с женой. Я ни с того ни сего мог вспомнить стук упавших сапог, когда в первый раз нес Вику на руках к дивану; мог вспомнить ее альтовый голос, в котором в преддверии близости появлялась особенная интимная хрипотца; мог вспомнить примятую травку ее лобка. В чемодане моей памяти, как в музее, хранилась целая коллекция ее прикосновений. Однажды она уснула и во сне поцеловала мою руку. На минуту я оказался во власти иллюзии, что она со мной навсегда. В тот момент я забыл про ее мужа, ее ребенка, про Америку и свои цели. И всю эту огромную минуту был счастлив.

² Я занимался любовью.

После этих флешбэков возникало что-то вроде фантомной боли, как у пациентов после ампутации конечности. Что в этой женщине, почти год державшей Игоря на коротком поводке, было такого, чего я так и не нашел в других?

Впервые Вика появилась на этих четырнадцати квадратах недели за две до похорон Брежнева, когда в одиннадцать утра на Ленинградке и Волоколамке троллейбусы, трамваи, автобусы внезапно остановились и заголосили, слившись в фальшивом аккорде.

Подготовился заранее: за несколько дней, не зная, когда *это* может случиться, Игорь сервировал столик кофейными чашечками и фужерами, насыпал в конфетницу «Мишек на Севере», купил «Бычью кровь» – три рубля бутылка. Вика пила, заметно опережая Игоря, курила одну за другой и стряхивала пепел в кофейное блюдо. Дело прочно, когда оно стоит на крови, пошутил Игорь. В тот день шутки не удавались. Ему казалось, что от него несет псиной – возможности помыться в виварии не было. Заливаться же одеколоном, как прапорщик, не позволяло чувство прекрасного. Отпроситься в душ – значило выдать определенные намерения. До последней минуты он ни в чем не был уверен. Вика сказала: мне нужно быть дома в семь. Застучал секундомер. Ты поднялась из кресла. Будто под гипнозом, я двинулся тебе навстречу. С минуту мы стояли, не шевелясь, лицом друг к другу, глаза в глаза, а я все еще не понимал – это «да»? Руки не слушались, колотила дрожь. Разденешь меня? В том, как ты произнесла это, было столько доверия и смирения перед неизбежным, что у меня вырвался жест умиления: провел ладонью по твоим волосам. Так жалеют ребенка. Твои руки безвольно поднялись, прошуршала вокруг головы, цепляясь за сережки, черная водолазка. С пояском замешкался – сзади в нем оказался какой-то потайной замочек. Ты дотронулась до моей руки, сделала одно точное движение пальцем и, переступив через упавшую юбку, пересохшим ртом шепнула: на колготки не смотри, петля поехала. По капрону от паха к колену бежала дорожка мелко заштрихованной кожи. Вжикнул молниями на голенищах, поднял тебя на руки – ты с готовностью обхватила мою шею, горячо выдохнула в ухо: мне нравится, как ты пахнешь. Как? Зверем! (На пути к дивану сапоги упали – сначала один, за ним другой.)

Когда Вика, откинув голову, сидела в кресле, а я, любуясь точеными грудками, линией шеи, чеканным профилем, гордился собой и мучительно не мог найти тему для разговора, в мед вдруг потек деготь. Пока спешат секунды в Лету и умирают на лету, чего еще желать поэту? – вдруг продекламировала Вика. – Быть может, эту? Или ту? Хочу еще крови!

Чье это? – спросил Игорь, подливая вино. Стихи мужа. Складненько, сказал он. Вика повернула голову, и впервые за месяц знакомства Игорь увидел на ее лице выражение безразличного недоумения. *Мне пора*, сказала ты. Все долгое время зависимости от Вики два этих слова обращали Игоря в полное ничтожество.

На улице темный холодный ветер трепал Викины волосы. У подземного перехода к Гидропроекту остановились. Ты уже была не со мной. Поцелуй затянуть не удалось – уперлась, отталкивая, ладонями в плечи: дальше сама. И через минуту целеустремленно цокала каблуками в свою главную жизнь по другой стороне Волоколамки. Что Вика хотела сообщить стихами? Потом Игорь узнал – на взводе она была особенно притягательна. Когда ее фигурка в расклеванном пальто, колокольню вздутом ноябрьским ветром, скрылась в подъезде шестого дома, понял: влип.

В кухне пахло кофе. Бета принарядилась – надела сережки, кольца. Платье в мелкую черно-белую клетку подчеркивало бледность ее лица. На столе из вазы с тонким горлом свешивали белые головки три гвоздики. Я помню, ты их любишь, через плечо сказала Бета, карауля джеззу. На торте поблескивали запечатанные в желе фрукты. Перед моим отъездом Бета была шатенкой и завивала волосы, теперь носила короткую седую стрижку «под мальчика». Отчет о жизни в Америке с иллюстрациями из фотоальбома много времени не отнял. Жакет оказался в самый раз. Чтобы сделать приятное мне, Бета покрутилась перед зеркалом в при-

хожей. Ее сдержанно-вежливую радость от подарков я, конечно, предвидел – Бета находилась в той поре, когда запах новых вещей не волнует.

Разговоры быстро исчерпались – годы разлуки выбили у них из-под ног почву. Выручало прошлое. Уютный, с трещинкой голос Беты любовно, будто камешки в шкатулке, перебирал прожитое. Сонечка позвала меня в гости на Новый год – сорок восьмой встречали. У меня ни копейки. А тут реформа. Мои, как назло, продали корову, деньги обесценились. Сонечка дала мне свое платье, такое серое в талию, спереди пуговички. На ней – синее в белый горошек, тоже в талию, но со стоечкой. У меня на голове «корзиночка», а ей с головой и делать ничего не надо, у нее мелкий бес от природы, тогда в моде перманент был.

В сорок первом вместе с заводом своего отца, где тот был главным инженером, мама эвакуировалась из Москвы в Омск, а в сорок шестом поступила там в медицинский. В ее группе училась Берта Цветчих, уроженка алтайского села с не менее вызывающим для послевоенного русского уха названием Гальбштадт. Она жила в общежитии и подрабатывала санитаркой в военном госпитале. Все эти истории я слышал еще *тогда*, но перебивать не хотелось. А я привела Леню, он лежал у нас с остеомиелитом после ранения. Два года по госпиталям, инвалидная пенсия. На костылях, угрюмый, за рубль слова не купишь. Форма латанная, на груди медальки звякают. Стеснялся он страшно – парень-то деревенский, из Тары, а тут отдельная квартира, все удобства, елка наряжена, над столом абажур, мебель с резными ножками, патефон, все одеты по-городскому – прилично. Младшую, Анечку, твою тетку, ей тогда пятнадцать было, снегуркой нарядили. Как Новый год встретили, я-то на еду накинулась, голодная, как дворовая кошка, а он один костыль бросил и Сонечку на вальс пригласил. И так ловко с нею на другом костыле вальсировал, просто артист! А как улыбался, что ты! Сразу Сонечке его уступила. Вот так прямо и сказала: Соня, если он тебе нравится – я буду только рада! Наум Моисеевич перед самым своим арестом Ленечке пенициллин достал, устроил на операцию к профессору Свешникову. Тот ему ногу окончательно вычистил. Кость быстро выросла. А на другой Новый год я уже целовала твои крохотные пяточки! И удивлялась: неужели они когда-нибудь вырастут до сорок третьего размера?! Бета засмеялась: с размером не ошиблась, как в воду смотрела!

От деда и бабушки после обыска остались две фотографии, одна свадебная, 26-го года, и другая предвоенная, где дед в шляпе, бабушка – в шляпке с вуалькой. Теперь эти фотографии лежали на какой-то замороженной даче. Надю Бета почему-то называла мадам Брошкиной. Представляешь, эта мадам – Бета повертела на узловатом безымянном пальце золотое кольцо с фиолетовым камешком – пять лет назад позвонила и потребовала, чтоб я его отдала. Александрит, Сонечкин подарок! Я не смогла. Сонечка же его прямо с руки сняла, в больнице! Уже совсем задыхалась. На память, говорит. Просила тебя не оставлять... Как Брошкина выведала? Ленечка очень изменился, когда... Еще кофе?

Мама заведовала в поликлинике отделением. В эпидемию гриппа врачей не хватало, и ей пришлось ходить по вызовам. Вечером пожаловалась на ломоту в мышцах, а через пять дней умерла в 1-й инфекционной. При вирусной геморрагической пневмонии в то время шансов не было. Я учился на третьем курсе, понимал мало, был уверен, что все обойдется. Надел халат, маску, перекинул вокруг шеи фонендоскоп и через служебную лазейку проник в больницу. Принес воду с лимоном и зачем-то хурму. Мама часто и шумно дышала, говорила с трудом – на три вдоха одно слово. Губы синие; выющиеся с незакрашенной проседью волосы прилипли ко лбу; к носу пластырем прикреплена красная резиновая трубка – по ней подавался кислород. Она пыталась улыбнуться, но желтые корки в углах рта не позволяли. Я промокал ей лоб носовым платком, нес обычную студенческую чушь про зачеты, сессию, тупых преподавателей и боялся остановиться. Мама гладила мою руку и движением век заставляла продолжать. Ночью ее забрали в реанимацию, сказали, что перевели на искусственную вентиляцию легких. Снова я увидел ее уже после вскрытия в морге, куда мы вместе с отцом привезли одежду для похорон. Женщина с синим ромбом МГУ на лацкане серого пиджака, подкладывая в пачку

квитанций копирку, спросила: настаиваете на кремации? Отец провел пальцем по внутренней стороне фуражки, сверкая залысинами, затряс головой.

Мне одиннадцать лет. На новеньком «москвиче» мы прикатили на берег лесного озера. Осень уже намешала краски и крупными мазками разбросала их по берегам. Мама занимается грибами – нанизывает на ниточки для сушки. Отец мастерит и расставляет жерлицы, я таскаю удочкой живцов – мелких окуней, похожих на первоклассников с ранцем. Белые ночи давно отошли, комары донимают только днем. А правда, что комары могут заесть насмерть? Энергичный кивок. Пап, а правда, что на стартовой площадке видели снежного человека? Отец прикуривает папиросу от фронтовой, сделанной из гильзы зажигалки, прищуривает один глаз, как его земляк артист Ульянов. Это военная тайна, серьезно говорит он. Вечером, когда мама на разложенных сиденьях уже устроилась в машине на ночевку, мы с отцом уютно лежим у тлеющего костра. Небо усыпано звездами, Млечный путь отражается в неподвижной черной воде. Отец палочкой ворошит угли, по ним пробегают красные, желтые, синие – почти прозрачные, – всполохи. Самая чистая вещь на земле – огонь, вдруг говорит отец. Почему, спрашиваю, потому что убивает микробов? Нет, не сразу отвечает отец, потому что он... (палочка переворачивает уголек) *не врет*.

Игорь никогда не думал о кремации, никакой выработанной позиции у него не было и не могло быть, но от мысли об огне, превращающем тело в пепел, становилось не по себе.

Кремировали в печи при Донском кладбище. В памяти от того дня у Игоря не осталось ничего: помнил только, что в зале прощаний играл настоящий орган, дальше – пусто. На девятый день отец в полном полковничьем прикиде, уже под градусом, привез из крематория урну. Приехал не один – с бывшим сослуживцем, который вышел на гражданку и устроился на «теплое» место: теперь вместо ракет обслуживал печь крематория. Его неприятно высокий голос диссонировал с начальственным обликом. Они привезли пиво, водку и здорового, завернутого в газету леща. Урну из черного мрамора, похожую на снаряд гранатомета, поставили на стол. Присоединиться к застолью Игорь отказался – отец не просыхал с поминок. Накануне пьяным уснул в ванной, полной воды.

Игорь снова вошел в кухню, когда бывший ракетчик курочил леща. ...У нас, Лессаныч только заслуженные пеплы, простых не обслуживаем! Ёп-п! Печник-ракетчик брезгливо поднял блестящие жиром ладони – брюхо леща кишело белыми червями. Сдерживая рвоту, Игорь выскочил из кухни, но через стену доносилось каждое визгливое слово отцовского собутыльника. Ты думаешь, Лессаныч, червь это смерть?! – кричал он, переходя на ультразвук. Не-е, Лессаныч! Червь – природа! Червь – это жизнь! Таким антисанитарным образом была явлена правда отца – *огню можно доверять*.

Что мама умерла, я понял только через три месяца. Вынул из почтового ящика извещение на ее имя с требованием оплатить задолженность по кредиту – на день рождения родители подарили мне стереопроектор «Вега» – и вдруг понял: все, ее нет и не будет никогда.

Игорь и Гуля поженились на пятом курсе. На свадьбе в «Метрополе» собрался весь МИД. Вскоре появился кооператив на Речном, машина, поездка в Венгрию, куча приятных мелочей, недоступных простым смертным: театр на Таганке и прочие деликатесы.

В том же году отец Игоря женился на Наде и переехал к ней.

Как-то Игорь с Гулей вернулись с вечеринки. Гуля схватила длинную вазу с раструбом, забралась на кухонный стол и, как в микрофон, низким гулким голосом объявила: объявляется месячник без гондонов! Беременность протекала тяжело, с токсикозом, с угрозой выкидыша, с госпитализациями на сохранения. Родоразрешение – кесаревым, доступ по Фанненштилю. Судя по зазубрине в конце блатного косметического шва – разрез расширяли впопыхах и в панике.

Гуля поступила в аспирантуру к Чучалину, Игоря с его красным дипломом без проблем приняли в ординатуру к Соловьеву, в только что основанный Институт трансплантологии.

Гафуровы вели себя тактично, деньгами, которые регулярно подбрасывали семье Несветовых, Игоря не попрекали. Но он, примак, чувствовал себя не в своей тарелке. Чтобы что-то доказать – то ли себе, то ли Гулиным родителям, устроился хирургом на полставки в Красногорскую больницу. Деньги хоть ерундовые, но честные. Хирургическое отделение располагалось в двухэтажной развалюхе – однажды прямо во время операции с потолка обрушилась штукатурка, и, если б не бестеневая лампа, принявшая главный удар, бетонный мусор пришлось бы выгребать из открытого живота. Аппендициты, ущемленные грыжи, «непроходы» и прободные язвы шли потоком. Наркозы давали сестры-анестезистки, на большие операции из дома вызывали анестезиолога. В ординаторской за батареей жил сверчок, зорко следивший за тем, чтобы хирург не спал – лишь стоило задремать, начинался громкий прерывистый свист, бесивший отсутствием ритма. Несколько чайников кипятка, вылитых за батарею, не помогли.

Ежедневная работа в палатах, дежурства по клинике, эксперименты на собаках в институтском виварии, дежурства в Красногорске свободного времени не оставляли. В операционной вивария было два стола, ждать очереди иногда приходилось до вечера. Операция занимала три, случалось, и пять часов в сопровождении нескончаемого собачьего лая. Игорь задерживался иногда до утра – менял растворы в капельницах, ждал выхода собаки из наркоза. Пробирки с кровью возил в Институт гематологии, где был импортный анализатор.

Гошке взяли няньку с категорическим условием – при ребенке не материться. Что я, блядь, без понятия? – сказала нянька.

Гуля защитилась в конце 75-го. В том же году в аспирантуру института трансплантологии поступила Валя Писаренко из Краснодара, дородная казачка. Она искала жилье. Игорь, с согласия отца, – деньги пополам – сдал ей квартиру на Волкова. Прописка девушку не интересовала – хотела поскорее состряпать диссер и вернуться в Краснодар. К приходу Игоря она готовила маринованную с овощами и чесноком курицу. Валу вполне устраивала миссионерская поза – никаких выкрутасов, и он быстро, в несколько ударов покидал клетку похоти. Второе соитие было извинением за уход в ту жизнь, где любовнице места не было.

Как от тебя чесноком несет, как всегда с огромной скоростью выстреливала слова Гуля, когда Игорь возвращался домой. Как от настоящего еврея. Кротик, может тебе обрезание сделать? Тогда и за татарина сойдешь. Папа обрадуется, новую машину нам купит. А так ты ни то ни се, полукровка. А ты-то кто? – всерьез обиделся Игорь. А нам, татарам, все равно! Нет, мне правда интересно, горячо зашептала в ухо Гуля, никогда с обрезанными не трахалась! Она прилегла грудью на кухонный столик и, вздернув юбку, соблазнительно вильнула попой. Гошка гостил у деда с бабкой на Соколе, няня уехала в Любытино на похороны. Но боезапас был истрачен с Валею. Ну давай же, я умираю от нетерпенья. Вот что, маленькая, если ты... еще когда-нибудь скажешь о папиных деньгах... Гуля движением школьницы оправила юбку, ее большие зеленые глаза наполнились слезами, потекла, оставляя мутные серые разводы, тушь. То, что ты сейчас сделал, Несветов, ни одна нормальная женщина не прощает. Все! Пошел вон! Игорь сказал, что поживет у отца, а сам отправился к Вале, на Волкова. Через неделю пришел сдаваться. Гуля простила. Но, чур, с испытательным сроком! Будешь целый месяц, нет, целый год гладить спинку перед сном. До того или после того? Немножко до и множко после! Иди сюда скорей! Господи, как от тебя несет псиной! Но мне это даже нравится!

Аспирантка из Краснодара защитилась и уехала, оставив на память цветную фотографию, – Игорь обнаружил ее во внутреннем кармане пиджака, когда вернулся домой.

У Игоря вышло несколько статей, вот-вот должны были дать ставку старшего научного, а это уже кое-какие деньги. Но месячная выживаемость собак после ортотопической пересадки печени с наложением наружного венозного шунта с портокавальным анастомозом оставляла желать лучшего. У американцев уже шли одна за другой успешные пересадки печени на людях

с выживаемостью больше года. Профессор считал, что синдром ДВС развивался из-за тромбоза сосудистых анастомозов. Игорь был того же мнения. Оправдываясь, ссылался на плохой присмотр за собаками (ночью в виварии никого не было), на просроченный гепарин, на дефекты наркоза, на отсутствие иммуносупрессоров и плазмы.

Накануне Олимпиады Гуля с помощью папы устроилась на кафедру факультетской терапии ассистентом и начала вести цикл по пульмонологии. Игорь наконец получил старшего научного, бросил подработку в Красногорской больнице, написал план докторской, но пока не утверждал – ходили слухи, что профессора – после смерти высокопоставленной внучки на операционном столе – попрут с кафедры. К пересадке почки – в то время единственной по настоящему трансплантологической операции – Игоря не подпускали: там еще до него сплотился тесный кружок избранных. Стали поговаривать, что Несветов «пересидел» на собачках. Надо было искать новое место работы – здесь не сложилось. За восемь лет работы в институте он сделался хирургом-ветеринаром, с той только разницей, что ветеринары спасали собак, а он их истреблял; других же мест, где бы занимались пересадками, в Союзе не было. И это уже походило на судьбу, неправильную судьбу.

Лето прошло тихо, с купанием в Юрмале, где под приятный акцент бармена, потягивая через соломинку коктейль, можно было представлять себя европейцем. Благодаря Гафурову-старшему Игоря и Гулю поселили в мидовском коттедже. В номере стояла огромная кровать и зеркальный шкаф во всю стену. Гуля, находясь в позе наездницы, вдруг остановилась и сказала: Кротик, а может, и нам свалить? Обрушилась на мужа, подперла подбородок рукой, больно приладив острый локоток у него под ключицей. Только не в Израиль. Там одни жиды. А твой отец? – спросил Игорь. В зеркале млечно светились Гулины ягодицы. Хрен с ним, выкрутится. Что мы с тобой, их экзамен не сдадим? Зато потом... Представь, ты работаешь в шикарной клинике, у меня практика, купим дом рядом с океаном, у тебя огромная машина, у меня машина поменьше, а на выходные будем летать в Париж. Клево? Ты можешь узнать, с чего надо начинать? Документы всякие?..

Колесо отъезда со скрипом тронулось с места. Тетя Аня, младшая мамина сестра, вместе с мужем уехала в Израиль еще в шестьдесят девятом. Письма в Израиль и из Израйля шли долго. Пришел нотариально заверенный вызов. Первые визиты в Колокольный, к консулу в посольство Нидерландов. Бумаги, справки, копии документов, очереди к нотариусу. Отец, выйдя в отставку, работал начальником гражданской обороны в «почтовом ящике». Свидетельства о рождении – и мое, и мамино – он порвал. Пришлось восстанавливать – писать запросы в Омск и ездить в Витебск. Гуля ушла с кафедры на прием в районную поликлинику, я обосновался в виварии на ставке старшего лаборанта. Родители Гули помощь прекратили, жить стало не на что, тем более содержать няню – Гошку устроили в детский сад.

Враждебность мира сблизил нас, а наши ночные игры приобрели трагический многозначительный оттенок, как будто, занимаясь любовью, мы отстаивали права человека. Гуля достала календарь еврейских праздников, на Хануку приготовила гефилте-фиш – фаршированную щуку. Вместе записались на курсы английского и стали посещать ульпан. Разговоры по телефону подернулись вуалью конспирации. Самое важное стали писать на бумаге – весело перебрасывались через стол записками. Иногда ночами Гуля дурачилась: хочу, чтобы все по настоящему! Вдруг евреи потребуют у тебя предъявить документ? И что ты им покажешь? Вот это? А потом, лежа у Игоря на груди и пощипывая у него волосы вокруг соска, жалобным голосом спрашивала: Кротик, а как ты думаешь, когда мы будем жить в Америке, должна я переспать с негром? Ну хоть разочек? Ты простишь меня? Говорят, они могут без перерыва кончать много раз. Это правда? Видишь, какая я честная. Потому что я тебя люблю. Потому что мы всех должны победить. Может, повторим неправильные глаголы?

От «уезжантов» требовали согласия родителей. «Согласие» Игорь добывал мучительно. В переговоры отец не вступал, говорил «нет» и запирался в комнате, принадлежавшей когда-то

сыну. На кухне голосила Надя: добиваешься, чтоб отца с работы поперли! Потребовалось два месяца и пять визитов, чтобы выбить из него эту идиотскую бумагу. Гулины родители, как ни удивительно, согласие подписали сразу. Фархат Имранович, ставя подпись, пробурчал: люди вы способные, справитесь.

Посещать ульпан при Хоральной синагоге перестали быстро. В еврейской среде Игорь чувствовал себя неуютно, иврит на язык не ложился, еврейская история навевала тоску своей беспросветностью. И еще было совестно, оттого что целью была Америка – как будто собрался что-то украсть.

В ульпане Игорь и Гуля познакомились с Эриком Розиним, разговорчивым молодым человеком с рыжей шкиперской бородкой. Он был «в отказе» – работал прежде программистом и теперь, доживая до срока давности, сторожил детский сад. Гуля по старым каналам, минуя папу, достала Эрику билеты на Таганку, на «Мастера». Эрик стал звонить каждый день. Благодаря ему появился новый досуг – ходить на проводы. Вы слишком еще советские, говорил Эрик, вам надо погрузиться в среду. Но уже хоть чуточку евреи, скажи, Эрик? – надувала губки Гуля. Только на пять с половиной процентов. Противный! Лично я уже еврейка на все девяносто. Не знаю, почему ты этого не видишь! Эрик снисходительно улыбался: еврейство приходит не через голову, Гулечка. Им надо пропитаться, как селедка рассолом. Нужно, чтобы ты вышел во двор без мамы и тебе сказали: жид-жид, по веревочке бежит!

Эрик приносил тамиздат. «Воры в ночи» Кестлера Игорь прочитал с интересом, но в сакральном «Эксодусе» Леона Юриса увяз, едва осилив десяток страниц и совершенно не понимая, что там в те годы на земле обетованной происходило и чем провинилась Англия. Как-то раз уже осенью Игорь и Гуля оказались в большой сталинской квартире, полупустой, с эхом – вещи были проданы. Стол соорудили из снятой с петель двери, сидели на досках, перекинутых между табуретками. Кажется, провожали Рывкиных. Мужчины постарше пришли в черных костюмах, те, что помоложе, – явились в свитерах, по виду ученые-физики, какими их показывали в советском кино. По комнатам с визгом носились потные возбужденные дети. Курили на кухне – на подоконнике стояли жестяные банки из-под шпрот, приспособленные под пепельницы. Оказалось, что водка – кошерная. Рядом с парой Несветовых сидел Аркадий Семенович. Вы, как я понимаю, молодой человек, готовитесь к транзиту Москва – Вена – Нью-Йорк? Игорь замаялся. Ну правильно, что хирургу делать в земле обетованной? Там хирургов, как собак нерезаных. Ваша жена терапевт? Да, сказал Игорь и зачем-то соврал, что она работает на кафедре у Чучалина, без пяти минут доцент. Теперь эти пять минут до доцента станут для вас вечностью. И что? – вдруг спросил Аркадий Семенович, – никак нельзя лечить эту астму без этих гормонов? Только сейчас Игорь понял, что Гули нет. И нет давно. Он оставил вопрос Аркадия Семеновича без ответа, обошел несколько раз все комнаты, выглянул на лестничную клетку, вслушиваясь в лестничные пролеты. За столом затаили «Бродягу». Дверь в туалет была открыта, в ванную – заперта. Выбил ее одним ударом ноги, благо защелки в трухлявом дереве еле держались. Прежде увидел спину в клетчатой рубахе и спущенные, сложившиеся гармошкой брюки. Следом – растерянную, через плечо, лошадиную улыбку Эрика и – крупно, будто через лупу – веснушки на его носу. От рывка за воротник пуговицы на клетчатой рубахе осыпались, Эрик вылетел в коридор, открыв незабываемый до конца жизни вид: Гуля, в лакированных туфельках на высоких каблуках стояла на деревянной детской приступочке к раковине – юбка на плечах, трусики спущены до колен. С мгновенно возникшим чувством непоправимой потери Игорь успел оценить красоту лордоза и ямочек на крестце. В коридоре у ванной собирался народ. Не оборачиваясь, захлопнул пяткой дверь, приподнял Гулю за трусы, как делал, когда вставлял сына в колготки. Взяв ее за руку, провел по темному, с поворотом коридору сквозь конвой глаз, откопал из кучи сваленные как попало пальто. В такси Гуля плакала, прижималась лицом к моему рукаву, и плакала все безутешней, по-детски, ступенчато и шумно втягивая воздух, всхлипывала и ничего не говорила. Пока поднимались в лифте, Игорь

не выпускал Гулиной руки и смотрел в потолок – мутный пластиковый плафон был в черных точках от затушенных сигарет.

Если ваша голова научится плевать за руками, сказал как-то старосте кружка оперативной хирургии Игорю Несветову профессор Кованов, вы, доктор, добьетесь многого. Игорь отомкнул замок, втокнул в темноту прихожей Гулю и ударил ее по лицу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.